

Александр Иванович Левитов

**Расправа и другие
рассказы**

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3
ББК 84
А46

Александр Иванович Левитов
А46 Расправа и другие рассказы / Александр Иванович Левитов – М.: Книга по Требованию, 2012. – 72 с.

ISBN 978-5-4241-3425-8

Левитов, Александр Иванович 1835-1877 - выдающийся писатель. Родился 20 июня 1835 г. в торговом селе Добром, Лебединского уезда Тамбовской губернии, в семье дьячка. Художественные дарования Левитова очень значительны. Левитов - удивительный рассказчик. Буквально из ничего создавал он все свои очерки и рассказы. В них нет ни интриги, ни завязки, ни развязки, нет вообще и тени того, что называется сюжетом. Автор завладевает вниманием читателя благодаря умению сообщать интерес каждой мелочи, которой коснется. Его произведения представляют собою своего рода искусство для искусства, где важно не то, что автор рассказывает, а как.

ISBN 978-5-4241-3425-8

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2012

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2012

Александр Иванович Левитов
Расправа и другие рассказы

СТЕПНАЯ ДОРОГА ДНЕМ

По навозному, дрожавшему под ногами мосту я перешел с луговой, низменной стороны Дона на нагорную. Сырой предутренний холод, обыкновенно веющий от реки, окончательно прогнал от меня дремоту.

С моста по крутому каменистому въезду я взобрался на высокую гору. Перед мной была маленькая господская деревня с десятком развалившихся изб и барским флигелем в три окна, а назади меня и с боков спящая степь. Неоглядная окрестность, вся закрытая предрассветным мраком, как-то грозно смотрела на меня. При виде этой спящей силы я вдруг необыкновенно ясно сознал, что я один посреди ее и что всего меня обняла она своими широкими объятиями...

Испуганный молчаливым величием ночи, я иду по сонной деревне. Утренний холод, так ощутительный в поле, сменился запахом жилья. Потемнело как будто, и, хотя на улице решительно не было ни одного живого существа, тем не менее в природе чувствовалась какая-то ободряющая полнота. Ночной мрак уже не пугал воображения.

Но вот деревня пройдена. Чурюканье навозных тараканов уже не слышится; повеяло прежним холодом, - в путевой дали, изрытой глубокими оврагами, которые, как щетиной, поросли мелким кустарником, завиднелась грозная, тайная ночь, и снова воображение запугалось ее, и душа затосковала своим одиночеством.

Дорога, по которой я шел, венчала своей левою стороною, как карнизом, высокую каменную гору над Доном. Над редко расставленными дорожными вешками густо носились седые речные пары. Путешествуя по родной стороне и, следовательно, знакомый со всеми ее мифическими сказаниями, я живо вспомнил их, почти единственных воспитателей моего младенчества: перед изумленными глазами моими возник фантастический образ гиганта, приставленного по ночам сторожить старинный разбойничий клад. Выходя как будто из волн речных, он высоко стоял над семисаженною горой. Мне виделось даже, как в ночном тумане колебалась его белая мохнатая шапка. Шаги мои против воли сделались медленнее, по телу, как в старину бывало, пробежала холодная дрожь: в одно и то же время я и желал слышать и боялся услышать, как богатырь гаркнет на спящую степь:

А и мимо меня дикий зверь не прорыскивал,

Ни один богатырь не проезживал,

Быстра птица не пролетывала...

И как в давние детские годы обманывался я в бабке, рассказчице дива, и переставал видеть в ней свою бабушку, потому что в этом месте рассказа она непременно меняла свою тихий старческий голос на возможно толстый бас и доброе лицо ее в эту минуту старалось изобразить необыкновенно грозный богатырский лик, - так и теперь мне нельзя было, хоть даже и бессознательно, не обмануться и не испугаться великана, который так гордо остановился на моей дороге.

Две широкие меловые линии, параллельно идущие от подошвы горы в самый верх ее, изображали собой длинные раздвинутые ноги великана. Высокая раски-

дистая вешка, росшая на самом обрыве горы, вся задымленная и колеблющимся мраком и речными парами, служила ему шапкой, плотно накрывавшей дремлющую голову. Я на секунду остановился на дороге и только того и ждал, что вот-вот из-под этой шапки раздастся громкий голос, от которого посыплется листья с деревьев и проснутся испуганные птицы.

Но, как и все, что стояло около меня, было недвижно и молчаливо, так был недвижим и молчалив великан, напомнивший мне собой иные, счастливые времена. За минуту грозный и величавый, он, когда по груди моей пробежал сладкий трепет при воспоминании о бабке, рассказывавшей некогда про его непобедимую волшебную мощь, при воспоминании о моей собственной, некогда твердой вере в непрременную действительность сказочного мира, вдруг как будто переменял свой пугающий образ. Я заметил в этом образе что-то невыразимо ласкающее: из дали, затемненной ночью, он смотрел на меня с такою любовью, что я уже не видел в нем прежней заколдованной силы волшебного стража; силу любви другой, не менее мощной, настроились видеть в нем глаза мои!

Это от тебя, бабка-рассказчица, перелетела мысль моя к матери, с которой вы длинными зимними вечерами занимали наши ребячьи досуги. Живо вспомнил я, добрые мои, все рассказы ваши о мире, в который вы сами так же твердо и простодушно веровали, как мы - дети.

И вот закипела пустыня тайными существами, знать и бояться которых вы научили меня. Не пуста теперь дорога моя! Бесчисленными роями кружатся и летают передо мной существа эти, игривые и грациозные, как детство, верящее в них. Каким-то странным, невиданным мною до сих пор светом прорезывают они мрак ночи и реют над высокой затуманенной вешкой, давшей голове моей любимую работу - думать о прошедших днях, об умерших людях...

Нет нигде жизни! Спит все живое тем последним предутренним сном, с которым так тяжело расставаться. Жаворонки не вставали еще, а перепела, почуя близость зари, тоже прервали на время свою почти неутомонную песню. Ничто не мешает свободно развиваться ленте моих воспоминаний. Широкая и длинная, как эта дорога, она до такой степени занимает меня, что я забываю пространство и усталость и иду. А между тем давно умершие люди, давно забытые жизненные случаи так ясно пронесаются в памяти, что я вспоминаю самые незначительные подробности, подмеченные мною в ранней юности на этой дороге. И при всем том, что всю ее ночь ревниво закрывала от глаз моих, я, так сказать, ошупывал эти подробности и указывал их себе.

Иду я и думаю, думаю и иду.

Мир вам! Мир вам, добрые, бедные люди, обставлявшие некогда мою бедную детскую жизнь! Мир тебе и покой, бедная родная сторона моя! Давно я покинул тебя, потому и не знаю, как живут теперь твои дети, но как они тогда при мне жили, я знаю, и опять говорю: мир вам, добрые, бедные люди! Мир тебе и покой, бедная родная сторона моя! Как люди, некогда жившие на тебе, знаю я, нуждались в покое, хоть бы даже в смертном, как они говорили, так и ты, помню я, нуждалась тогда в нем и, может быть, даже и теперь также ищешь его...

Сквозь рedeющий мрак, закрывавший от меня лицо матери-степи, я увидел наконец, что все та же она, какую я оставил ее много лет назад...

Длинный строй рогатых вешек-сирот выстроился по обеим сторонам степной проезжей дороги; сама дорога, малоезженная, но избитая кем-то до того, будто

только сейчас прошла по ней миллионная армия, лепилась по придонским горам, спускалась в глубокие овраги и, выгибая свою бесцельную дугу, пугливо пряталась от глаз, опечаленных унылым видом.

Все та же ты, степь! Вот довольно ясно показались мне долины и косогоры, испещренные хлебами, единственным богатством твоим; по сторонам дороги забелели церкви, замелькали кресты колоколен, а около них мрачно рисуются слитные, растрепанные массы крыш из почерневшей гнилой соломы, развалившиеся, закоптелые избы без окон, без труб, подпертые со всех сторон кольями и безобразно заваленные, с укрепляющею, надо полагать, целью, серым навозом.

Да, по-прежнему наводят на душу тоску самую гнетущую уродливые и как будто хворые норы степных обитателей. Такими же сырими кажутся они и так же беспомощно выглядывают из-за навоза их маленькие слепые оконца, как вот эта ватага калек, слепых и хромых, которая сейчас встретилась со мной, усиливаясь холодком доползти и дохромать на сельскую ярмарку за куском насущного хлеба...

Вижу, вижу я теперь, что все та же ты, степь, что все так же ты нуждаешься в покое и мире, как и при мне ты нуждалась в них, потому что слышал я сейчас жалующуюся, скорбную песню твою. Не прибавилось, должно быть, радостей тяжкой доле степной, не прибавилось веселья и в песне.

Ой, вали валом! Ой, вали валом

Из-под камня вода, -

тоскует, как горлица, эта песня - и по всей ширине степи разносила звонкая утренняя заря жалобный припев: "О-ой, из-под камня вода!"

По степным сказаньям, так, зачуяв несчастье дома, доможил, его заботник и покровитель, стонет и плачет в глухую, одинокую полночь...

Я остановился и слушал эти рыдания по степному, почти общему, горю. По всему полю тяжким стоном стояли они, и, слушая их, мне казалось, что им мало этого поля; я желал, чтобы слезы, вызвавшие их, рекой многоводной зашумели по всему лицу земному, потому что плакала ими неутешная мать. "Стоит мать, - говорит песня, - у подгорного придонского ключа и ведет с ним такую речь: каким бы шумным валом, ключ, ни валила вода твоя из-под камня, все ей не заглушить моего лютого горя. Моего вдовьего, последнего сына мир отдал в солдаты, а дочь, по барскому приказу, увезли в новые деревни, в Самару. Мне сказали: снаряди свою дочь в дорогу. Ее барин посылает в свои новые деревни, в Самару, а то там, говорят, невест нет, а я говорю и плачу об том, что ей там женихов нет. Давно уж я, вспоминая свой последний конец, просватала ее за милого жениха, чтобы навсегда быть ей в родимых местах. Знать, придется мне умереть одинокой, без детушек, знать, некому будет сделать мне вдовый гроб. Обрушится после меня большая изба наша, дедом из толстого леса срубленная, крапивой зарастет огород, и на нашем родимом, насиженном месте ляжет унылая пустошь".

Много таких материнских жалоб и воплей отнесли подгорные придонские ключи к далекому морю Азовскому, к братьям-высельщикам степным.

Как и прежде, как и в старину при мне, степной день начинался жалобами и рыданиями, потому что чем реже становился мрак ночи, чем шумнее стук и скрип немазаных колес оживляли окрестность, тем чаще и повсеместнее слышались родные звуки родимых песен. Издали, с глухих заросших травой проселков, соединявшихся с проезжею дорогой, доносились они до меня, неумолчно звенели назади и впереди меня на самой дороге, и в голове безотвязно стояла одинокая мысль: о чем плачут и скорбят эти люди, проснувшиеся вместе с ранними птицами?

Все так же! Все по-прежнему! Птицы проснулись, проснулся и люд степной, и вот теперь до самых краев зачерпнулась им большая дорога. Отовсюду идет и едет он залить кормилицу землю п том своим трудовым.

Благослови вас бог, труженики, на силу и терпение в вашей работе-страде под томящим солнечным зноем, который запалит сейчас всю степь одним общим пожаром...

Много на час оживилась проезжая дорога, спавшая за минуту. Предалась она опять своему обычному, думающему молчанию, потому что люди, разбудившие ее, все разбрелись по полям, и по всему пространству закипела неприметная глазу работа, которая дает пищу миллионам.

Очень хорошо зная, что здесь убирается хлеб, вы идете и никого не видите. Так это все нагнулось, уткнулось в высокую рожь, что, кроме пения да лета беззаботных птиц, ничего не видать по сторонам. Разве только где-нибудь близ самой дороги, на сжатой уже совсем полосе, стоит одинокая телега с вздернуты-

ми кверху оглоблями, на которые в виде шатра накинута старый серый армяк. К телеге привязана лошадь; подле нее лежит огромная степная собака. Заслышав ваши шаги, лошадь громко окликает вас своим звонким ржаньем. Собака отзывается своему другу злостным лаем и неотразимо бросается к вам под ноги.

Только из одних собак наших и не успели еще покуда выбить их степную злость, всегда стойко и храбро отстаивающую хозяйское добро.

Наконец красным шаром выплыло солнце. Засвистели, зачирикали и залетали птицы, и как-то особенно медленно, совершенно не так, как в других местностях, потянулась однообразная жизнь проезжей степной дороги.

Стая богомолка торопливо бежит мне навстречу. Высокая, страшно загорелая старуха бодро идет впереди. Закутанная с ног до головы в грязные тряпки, она терпеливо и без видимой усталости тащит на спине огромный холщовый мешок, перетянутый веревкой надвое. Это, очевидно, вожачиха, наторелая в религиозных путешествиях, сломавшая, вероятно, далекий поход к соловецким угодникам, а может быть, даже и в Старый Иерусалим. Я готов был биться об заклад, что в верхнем отделении ее мешка, говоря без преувеличения, полпуда черных сухарей, запасенных дома, а в нижнем - полпуда же песку из родной реки, взятого с богоугодною целью потрудиться и променять его на святой песок святой Почайны и синего Днепра.

За вожачихой чернеют набивные платки вольных сельских черничек. Слышатся неясный говор и как будто пение. Стая равняется со мной. Она состоит примерно из пятнадцати женщин. Лица их до такой степени изморились и обгорели, что решительно нельзя по виду определить их возрасты; но какие из них в первый раз совершали путешествие, это можно видеть с первого взгляда. Они едва передвигали ноги, и на молодых, искрасна-бронзовых лицах замечается постоянное желание присесть хоть на минуту на траву, отдохнуть хоть немного. Лицо старухи вожачихи необыкновенно сосредоточенно, даже мрачно. На нем не видно ни малейшего следа не только страдания, но и простой усталости. Совершенно свежий, хотя и старческий басок ее, как пчела, оглашал пустыню.

"Умереть бы желала я, - пела она, - мои милые братья, во Христе родные сестрицы, в своих родимых местах, чтобы на мою смерть смотрели ясные глаза внучков и детушек, а встать хочу я в светлом граде Иерусалиме... Только, как я, грешница великая, Иерусалима божьего недостойна, навсегда молно господя, чтоб он сподобил меня встать хоть в святом Киеве..."

Молодые голоса ее спутниц выражали такое же желание.

- Спаси бог в дороге! - проговорила мне старуха с низким поклоном.

Такими же словами и такими же поклонами приветствовали меня ее усталые подруги.

- Далеко ли до села, родименький? - спросила необыкновенно исхудавшая богомолка. - Душенька истомилась: пить страсть хочется.

- Много ли потрудились-то? Пить-то есть ли за что? - сердито спрашивала вожачиха.

- Три версты, - шепнул я в утешение страдалице так, чтобы не слыхала старуха.

А до ближнего села оставалось им верст десять. Я знал по опыту, что такая ложь в дороге весьма благодетельна. И про жажду забудешь, как вопьешься глазами в даль и ждешь, когда покажутся деревенские крыши.

Иду и думаю: теперь скоро становой поедет по дороге, или его писарь, или волостной писарь, а там, когда ободняет побольше, молодая купчиха из ближнего города тронется к сельской колдунье лечиться от порчи или узнавать про мужа: изменщик он или нет. Потом проплетется какой-нибудь одинокий старец, странствующий по монастырям лет двадцать кряду, весь обросший черною бородой, приученный в уединенной пустыне к почти постоянному молчанию, с худым, истомленным лицом, бледный как мертвец, с глазами, мечущими искры... Босой, длинный мужик в одной рубахе пронесется с работы верхом на кляче, повешенный сейчас из дома, что жена родила; два солдата, отводившие арестантов в город, нагонят меня с трубочками и штыками; барыня в поле проедет; неизвестный человек в истерзанном рубище быстро, как спуганная птица, выскочит из ржи, пробежит поперек дороги и, пугливо озираясь во все стороны, мышью скроется в соседнем леску.

Иду и ожидаю, когда все это по очереди проделает мне степная дорога.

- Бог помощь! - раздастся позади меня. - Не по дороге ли? Охотнее идти будет.

Меня догнал молодой человек, лет не более двадцати, в сером нанковом пальто и фуражке с кокардой. Я счел его за одного из тех выгнанных приказных, которые вечно шатаются по большим дорогам и пугают степных крестьян своими светлыми пуговицами. Я не любил встречаться с личностями подобного сорта, потому что, встречая их очень много, изучил их, как говорится, дотла. Всегдашняя, безутешная скорбь, постоянное влечение в кабаки, притворное раскаяние в этом влечении, нахальное вламывание в деревенские избы и захват с собою съестного и даже одежды - вот отличительные качества сих скорбящих путников.

- Откуда бог несет? - спросил он меня необыкновенно мягким и симпатичным голосом.

- Из Москвы, - отвечал я лаконически, опасаясь поддаться первому хорошему впечатлению, произведенному на меня этим голосом.

- Ах, как это хорошо! Надеюсь, вы не откажетесь рассказать мне, как поживают в Москве; я сам туда же иду, и иду в первый раз.

- Это очень странно. Я покамест могу вам сказать, что вы идете совсем в противоположную сторону от Москвы.

- Извините. Я не так выразился. Видите ли, я не дальний и очень хорошо знаю, что мне нужно идти назад, но я делаю крюк, чтобы проститься с родными.

- В таком случае я очень рад рассказать вам про столицу, что сам про нее знаю. Верно, хотите служить там?

- Да. Хочу попробовать своего счастья.

- Дай бог успеха.

- Ну, не думаю, чтобы бог непременно исполнил ваше желание, хотя и благодарен вам за него.

- Отчего ж?

- Да так. Не ст ю, кажется; а буду ли стоять - не имею возможности утвердительно сказать.

Меня озадачил необыкновенно откровенный тон, с каким было высказано это сомнение. Это, должно быть, какой-нибудь юноша, принадлежащий к провинциальному молодому поколению, думаю я себе, и не ошибся. Юноша повел со мной разговор весьма эксцентричного свойства.

- Меня зовут Теокритов, - начал он. - Мой пеший образ путешествия и моя фамилия, конечно, сказали вам все об моем звании и состоянии; поэтому можете себе представить, что я не буду расспрашивать вас о том, в какой московской гостинице мне всего удобнее остановиться или каким образом я могу быть принятым в великосветских салонах.

- В свою очередь и я никак не мог бы удовлетворить ваше любопытство в этом отношении.

- Я почему-то предполагал это, - отвечал Теокритов с улыбкой. -

Скажите, пожалуйста, вы долго прожили в Москве? Извините за нескромный вопрос, но я, рекомендуюсь вам, такой уж человек. Если сойду с кем, не могу не позволить себе полной откровенности: расспрашиваю про все, рассказываю обо всем.

- Сделайте одолжение, не стесняйтесь. Я сам совершенно такой же. В Москве я прожил более двух лет.

- Довольно. Чем вы там занимались? Я никак не могу ни по лицу вашему, ни по костюму отгадать ваших занятий.

- Право, я сам не знаю, чем я занимался в эти почти три года. Впрочем, вы мне сказали одну очень хорошую вещь. Я так же, как и вы, в одно утро шел по этой дороге в Москву с целью попробовать своего счастья - и пробовал... Это было мое главное занятие.

- И что ж, хорошо там? - спросил с необыкновенною поспешностью молодой человек.

- Да вот, как видите, - отвечал я, показывая ему на свой маленький дорожный чемодан. - *Omnia mea mecum porto* [Все мое ношу с собой (лат.)].

- Дда-а! - протянул Теокритов. - А сколько вам лет? - почему-то полюбопытствовал он, пристально всматриваясь в меня.

- А как вы думаете?

- Лет тридцать с небольшим, - польстил он мне.

- Двадцать четвертый пойдет с августа, - огорошил я его.

Теокритов сделал нервическое движение и замолчал. Минут десять прошли мы молча.

- Но вы, надеюсь, не откажетесь мне сообщить некоторые подробности насчет того, собственно, как простая проба, хоть бы даже и счастья, могла состарить вас так неестественно?

- Очень просто. Я пошел в Москву, может быть так же, как и вы, с самыми жалкими, но и с самыми нелепыми надеждами. Мне было девятнадцать лет. Я только что спорхнул со школьной скамейки и воображал, что все науки известны мне как мои пять пальцев. В этом уверял меня и аттестат с широкою печатью и с размашистыми росчерками разных инспекторов, профессоров и так далее. Сообразительности, впрочем, и тогда уже было у меня достаточно для того, чтобы задать себе такого рода вопрос: а чем будет питаться тело мое, которое, как известно вам, для разницы с бодрым духом называется бранным и немощным? "Бранный тело-то? - отвечал мой мальчишеский, следовательно добрый, дух. - Во-первых, об нем и говорить-то много не стоит, потому что пряников писаных оно у тебя не потребует - не привыкло, а ежели и потребует, так тоже заботиться не о чем. Науки тебе известны: уроки давай. Не найдешь уроков ежели, то есть в случае, ежели заколодит, почерк имеешь хороший: бумаги пока переписывай.

Делать-то нечего. Счастье ведь попробовать собираешься!.." Как сами вы видите, резонно до этого места рассуждал и ободрял слабую плоть добрый дух, но потом и сплупил. "А стихи-то? - шепнул он мне в довершение эффекта. - Разве не знаешь: Кольцов, Никитин, земляки ведь твои, славу себе приобрели". А на великую мою беду, я тогда стихами, как и всякий грешный мальчуган, с большим чувством занимался, и образованное начальство пометило у меня в аттестате: "В сложении и скандовании питических сочинений весьма быстр и способен". Не спорю, такая отметка даже до изрядности чепушиста, и верить ей я бы не должен, но что же прикажете делать с тою горячею верою, с которою золотая юность верит во всякую чушь? Вот я и поверил всему этому - и пошел. Приду, думаю, настрою нечто, и Москва заслушается моего козлогласования. Вы понимаете, что я хочу сказать этим? Я хочу сказать, что, несмотря на мой аттестат с широкою печатью, я был тогда необыкновенно туп, не сам по себе, но потому, что не научили меня понять ту простую вещь, что кто намерен сунуться в воду, должен прежде поискать броду. Бросая аллегорию, я разъясняю это правило таким образом: зная крайнюю несостоятельность моих средств и благословляя меня на дальнейшее развитие моей головы, начальство благословляло как будто тем самым мои, хотя и косвенные, надежды на общественный карман. А другой надежды избежать голодной смерти у меня и быть не могло. Я очень хорошо помню, как пред моим походом в Москву в угорелой головенке моей роились разные казенные вакансии, стипендии, субсидии и тому подобное. Тогда как самый необходимый вопрос: откуда и за что мне все сие - никак не мог влететь в эту головенку. Следовательно, я как будто рассчитывал, что Москва просто-напросто для того, чтобы поощрить мои разнообразные таланты и благородные стремления, должна содержать меня на общественный счет. Претензия эта, признаюсь вам, мне тогда казалась безупречно законной. Талантливый сын отечества, сознавая в себе многообразные способности, говорит ему: "Поощри меня. Я, как даровитый человек, впоследствии принесу тебе сторицею. Без твоей же помощи я пропаду". Но не виновнее будет и отечество, когда спросит у даровитого человека: "Докажи-ка ты мне свою даровитость! Покажи, скажет, изобретательность твоего ума и силу твоей воли, хоть, например, в том разе, чтобы обойтись тебе своими средствами, не пропасть без моей помощи". Такого рода испытанию и подвергла меня Москва, и, конечно, пожив теперь в обеих столицах, я имел случай видеть, как один сын отечества, по общему мнению далеко не даровитый, и без этого испытания был поощрен даже не по заслугам; но ведь это доказывает только, что мне, например, мать купила гостинец, а вам вихры надрала, и что, ежели вы неудовольствие какое по этому поводу выразите, она вам их еще более может надрать. Отдавая таким образом Москве должную благодарность, что она не допустила мою гениальность разжиреть на ее счет, я желаю выразить тем, что если она и на грядущее время будет так же исправно выдирать хохлы некоторым ребятам с глупым и бесправным риском, отовсюду налетающим на нее, как она мне их надрала, из этого выйдет одна очень хорошая вещь. Некоторый класс людей, славящийся у нас прирожденною способностью жить на чужой счет, все больше и больше извещаясь об этих, как говорится, всключках и вздрючках, со временем окончательно утратит эту способность, и будет от этого великое благо как самому словословию, так и всей Руси.

Против воли, я готов был в это время говорить хоть целую неделю, потому